

— Что послужило стимулом к написанию пасквиля?

— Мне больше всего ненавистен фашизм... Октябрьский переворот воспринимаю резко отрицательно. На Советское правительство смотрю как на правительство захватчиков.

Будто бы рябой чёрт сказал: «Изолировать, но сохранить». Значит, не читал «Мы живём...», ведь там личные оскорбления.

Мандельштама выслали в маленький уральский городок Чердынь на три года, и Наде разрешили ехать. В Чердыни Мандельштам ждал смерти — каждый вечер, в шесть часов, и Надя тайком переводила стрелки часов. В Чердыни белые ночи, как в Ленинграде. То он слышал какие-то голоса, имена людей, которым он читал «Мы живём...»; то ему чудилось, что Ахматову ведут на допрос, потом искал её тело в чердынских оврагах. Наконец выпрыгнул из окна чердынской больницы.

Случилось чудо — ему разрешили жить в Воронеже. Опять Бухарин помог — написал Сталину, просил перевести Мандельштама из Чердыни. Приписал: «Пастернак тоже волнуется». Вот тогда-то Сталин и позвонил Пастернаку...

Путь из чердынской в воронежскую ссылку привёл Мандельштамов в Пермь, «в говорливые дебри вокзала, в ожиданья у мощной реки». Они ждали парохода на Казань в Перми, на жёсткой нумерованной скамейке речного вокзала, что рядом с железнодорожным вокзалом Пермь-Первая. Когда-то здесь, в весеннюю ночь на качающемся пароходе Пастернак написал «Утренник», считал его лучшим из ранних стихов.

Потом Мандельштам напишет:

*Далеко теперь та стоянка,
Тот с водой кипячёной бак,
На цепочке кружка-жестянка
И глаза застилавший мрак.*

На цепочке кружка-жестянка. Жизнь-жестянка. Жизнь на цепи.

От безумия его спасал томик Пушкина. Пароход пришёл среди ночи.

В здании речного вокзала, на некоторое время ставшем Музеем современного искусства, московский

режиссёр Дмитрий Крымов показал свой спектакль «Смерть жирафа». На следующий день Крымова снова потянуло сюда — он зачем-то приехал, зачем-то ходил по сцене, вглядываясь в оставшуюся разметку мизансцен. Он не знал, что это место — зачарованное.

Стихи вернулись через год, в Воронеже. В концерте Осип Эмильевич увидел скрипачку — её звали Галина Барина, и так она напомнила ему Марину! Он сам себя назвал концертным сумасшедшим — вставал и аплодировал, как Щелкунчик, деревянными руками. В нём нет ничего от молодого Державина, каким его увидела Марина; он знал, что походит на Щелкунчика, и знал, что со стороны это смешно. Это как перед зеркалом сказано: «Товарищ больше-ротый мой».

Он тоскует по Москве:

*И в полночь с Красной площади гу-
дочки...*

Туда, в Москву, уехала Надя. Она хлопотала о разрешении печататься, была на приёме у московского партийного лидера Щербаква.

— О чём пишет он?

— О Каме.

— Почему о реке?

Что тут объяснишь? Писать нужно о Сталине. Но так захотелось вновь увидеть эту мощную реку: «Предлагаю принять командировку от Союза или Издательства на Урал по старому маршруту». Однако послали его по воронежским деревням.

Осип болен, денег нет, но слышался гул, и он оказывался пришилиненным к бумаге. «Читателя б!» Как-то звонил в НКВД: «Нет, слушайте, мне больше некому читать!» С ним была Надя, и рядом была хромоножка Наташа Штемпель. Он приходил к ней на работу читать стихи.

Однажды Осип Эмильевич увидел в коляске малыша, и дитя ему улыбнулось:

*Когда заулыбается дитя
С развилкой и горечи, и сласти,
Концы его улыбки, не шутя,
Уходят в океанское безвластье...*

Ему, гонимому, «непобедимо хорошо», ему эта улыбка малыша — как улыбка человечества. Мама мальчика, молодая писательница Ольга Кожухова, напечатала в партийной газете статью, по тому времени фактически приговор Мандельштаму. А ребёнок улыбнулся ему:

Все сны детворы...

Все яблоки, все золотые шары.

Себя Мандельштам увидел по-детски:

Словно щёголь, голову закину

И щегла увижу я...

Писал Борис: «Вы нянчите жизнь и в ней меня, недостойного вас, бесконечно вас любящего». Надя привезла стихи Пастернаку, и тот ответил: «Я рад за вас и страшно вам завидую... Пусть временная судьба этих вещей вас не смущает». Стихи в школьных тетрадках, и Пастернак заметил в этом что-то шумановское.

Мандельштам ещё на что-то надеялся, писал Тынянову: «Пожалуйста, не считайте меня тенью. Вот уже четверть века, как я, мешая важное с пустяками, наплываю на русскую поэзию, но вскоре стихи мои сольются с ней. Не отвечать мне легко».

Ответа не было. Ещё не было февральского пленума 1937 года, но Мандельштам уже задыхался от удущья:

Куда мне деться в этом январе...

Уже в апреле: «У меня только право умереть». Ода Сталину пишется как раз во время февральского пленума. Весауле он хочет увидеть человека!

Он родился в горах и горечь

знал тюрьмы.

Хочу назвать его — не Сталин —

Джугашвили.

Он хочет увидеть того человека, кем был когда-то Сталин!

А это вождь на Красной площади:

Он свесился с трибуны, как с горы,

В бугры голов...

И дальше портрет на ткани:

... На всех готовых жить и умереть,

Бегут, играя, хмурые морщинки...

— Гляди, Эсхил, как я, рисуя, плачу!